



*Ф. Решетников*

*МЕЖДУ ЛЮДЬМИ*

**Федор Михайлович Решетников**

## **Очерки обозной жизни**

В сборник произведений русского писателя Федора Михайловича Решетникова (1841—1871) вошли повесть «Подлиповцы» — о тяжелой жизни пермских крестьян и камских бурлаков, малоизвестная автобиографическая повесть «Между людьми», рассказы «Никола Знаменский», «Кумушка Мирониха», «Тетушка Опарина», а также «Очерки обозной жизни».

# Содержание

I ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ДОРОГЕ . . . . .	0005
II ПУТЕШЕСТВИЕ . . . . .	0028
III КРЕСТНАЯ МАТЬ . . . . .	0055
IV МЫ ПРИЕХАЛИ НА ПРАЗДНИК . . . . .	0072
V РАСПРАВА . . . . .	0085
ПРИМЕЧАНИЯ . . . . .	0095

**Ф. М. Решетников**  
**Очерки обозной жизни**

# ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ДОРОГЕ

Нужно мне было ехать из Екатеринбурга в Пермь, а денег у меня было только восемь рублей. В Екатеринбург я ехал с чиновником на земских и обывательских и заплатил ему только четыре рубля, так как он платил прогоны только там, где нет ни земских, ни обывательских лошадей. Теперь мне такого случая не представлялось, потому что в городе или в земском суде у меня знакомых не было. В это время сибирское купечество, так сказать, валом валило в Нижний на ярмарку, и мне посоветовали сходить в контору вольных почт для того, чтобы найти попутчиков, или не согласится ли кто взять меня ради компании пополам или как там придется. Прихожу в контору вечером; никого нет. Немного погодя вышел писарь.

— Позвольте вас спросить: нет ли у вас попутчиков? — спросил я.

— А вы кто такие?

Я назвался губернским чиновником; он по-

смотрел в книгу и сказал, что никого нет, а если мне будет угодно, то он меня запишет. Я согласился.

— А сколько стоит до Перми на паре? — спросил я из любопытства.

— В нашем экипаже двадцать четыре рубля, а если у вас свой есть, то и дешевле.

Я вышел и думал: вот если бы железную дорогу построили, так сбавили бы им спеси; от Петербурга до Перми более двух тысяч верст, и я издержал, с пищей, водкой и извозчиками, всего двадцать три рубля, а здесь, за триста шестьдесят верст, просят только за провоз двадцать четыре рубля, да еще ямщикам нужно давать. — На улице жарко, душно. Горожане ждут грозы и граду. Перед конторой вольных почт, на улице, стоят две повозки. Повозки эти старинные, сибирские, пространные. В одной, покрытой кожаным фартуком, почивают на пуховике два купца, с красными, точно разбухшими от жара, лицами. В другой повозке, с откинутой накладкой, лежат куча подушек и разных величин узлы. К обеим повозкам ямщики запрягали лошадей, ругая их как только можно.

— Просто каторга это время! Ни часу нет роздыху... Жара...

— И на водку, что есть, мало дают, штоб им провалиться...

Я подошел к ямщикам и спросил — нет ли таких ямщиков, которые бы увезли меня на обратных? Я думал, что ямщик, возвращаясь домой с лошадьми, возьмет с меня копеек двадцать.

— А ты из кутейников, што ли?

— Нет.

— Рассказывай: по облику видно... Вон там, во дворе, спроси.

Во дворе суетня. Ямщики перебегают от лошадей к телегам и повозкам; в две повозки два человека, одетые в сюртуки, укладывают подушки, чемоданчики, саквояжи. Нашел ямщика, — запросил три рубля. Я сказал, что дорого, ямщик стал издеваться надо мной.

— Ты бы попутчиков искал, — сказал мне другой ямщик, сидевший на крылечке.

— То-то што нет.

— Ныне купцы — одно слово, што жиды: почитай, со своей братьей ездят, а со стороны не берут, потому боятся — денег у них про-

пасть! Да им не жалко денег, — объяснял мне ямщик. А потом, помолчав, опять начал: — Одново разу при мне комедь была. Ехал, знаешь ты, купец, богач, одно слово. Вот и подвернись какой-то кутейник, и пошел этот кутейник к купцу проситься сообца ехать, а купец ехал один, с прикащиком. Ладно. Приходит этот кутейник в горницу, купец лежит на диване в рубахе — от жары просто не вмоготу ему было... Ну, тот и говорит: так и так... Кто ты, говорит, такой? — Тот оказал. — А я, говорит купец, не люблю товарищей, а тебя, говорит, возьму, коли, говорит, ты сейчас десять раз перекувырнешься, позабавишь мою милость, а коли не перекувырнешься — в полицию представлю и владыке твоему лично донесу, што ты меня на большой дороге беспокоить изволишь... — Ну, што ж бы ты думал? парень и давай перекувыркиваться — смех! да только не вмоготу, должно быть... на пятом разе остановился: не могу, говорит, сердешный. А пот так и льет, так и льет... Купец хочет... — Што ж ты, говорит, на самом забавном месте остановился? Валяй. — Не могу!! — вопит кутейник... — И я, говорит купец, не

могу везти. — Ну, и прогнал... А тот так-таки с обозом и уехал.

После такого разговора я решил ехать с обозом; что нужды, думал я, — что проеду неделю, зато сколько удовольствия будет для меня в этом тихом путешествии, а как заставят кувыркаться — обидно... Целые два дня проходил я без толку, потому что, не зная, где останавливаются те ямщики, которые едут в Пермь, я все натыкался на таких, которые ехали в Тюмень. Наконец, мне сказали, куда идти. Напротив полукаменного дома стояло до десятка пустых телег на улице; на земле, под телегами и немного подальше колес, бегали курицы и клевали в трухе овес, который, вероятно, сыпался из кошелёй, когда их убрали из телег; тут же тощая коровенка, махая от жары хвостом, что есть мочи засовывала под одну телегу свою голову, стараясь достать клочок сена. Ворота заперты. Я вошел во двор. Слева новый полукаменный дом, а справа — одноэтажный деревянный, уже старый; потом тянется длинный двор, по обеим сторонам которого навесы, а под навесами стоят телеги и лошади, достающие из кошелёй се-

но; четыре лошади лежат. Недалеко от крыльча дома, по правую руку, пятилетний мальчуган, в ситцевой розовой рубаше и с белыми волосами, старается сесть верхом на большую черную собаку, только та не дается, и когда мальчуган потащит ее за хвост, она визжит.

— Мальчик! — окликнул я мальчугана, но он, поглядев на меня, еще пуще стал тормозить собаку; та наконец укусила ему руку, убежала, а мальчик заплакал и пошел на крыльцо.

Я подошел к одной телеге: в ней лежит железное ведро, веревка, зипун. В другой телеге спит на животе мужчина, в синей изгребной рубаше, в плисовых шароварах, босиком.

— Чево тебе? — вдруг услышал я женский голос. Я обернулся. Из окна дома, направо от ворот, глядела на меня старушка. Я подошел к окну. Она хотя и выглядывала старушкой, но казалась бодрой, и в голосе ее не слышалось ничего болезненного.

- Ково тебе? — спросила она меня снова.
- Тетушка, здесь какие ямщики?
- На што тебе?

— Мне в Пермь хотелось бы нанять.

— Здесь таких нет: здесь с кладью поедут в Пермь.

— Завтра, надо быть.

— А берут они ездовых?

— Заходи ужю. Теперь спят, — и она заперла окно. Вечером, часов в семь, я пришел опять на этот постоялый двор. Шесть ямщиков, в синих изгребных и голубых ситцевых рубахах, в шляпах наподобие горшков и в фуражках, мужчины здоровые, краснощекие, собравшись в кучу, о чем-то толковали. При моем входе они, разговаривая, стали смотреть на меня. Я подошел к ним, снял фуражку, двое тоже сняли; говорить перестали.

— Вы не в Пермь ли?

— В Пермь, а што?

— Да мне тоже бы туда надо.

— Мы не примам нони, потому с кладью.

— Да я ничего...

— А ты, видно, из духовных?.. Ишь, нони стекла проявили на носу носить. Это от моды, што ли? — спрашивал один.

— Так ты говоришь — в Пермь?.. А што у те много клади? — спросил другой ямщик, с плу-

товатыми глазами, привлекательным лицом, с курчавыми волосами, небольшой черной бородкой, человек лет под сорок.

— У меня только узелок.

Ямщик оглядел меня с ног до головы и вступил в разговор с товарищами.

— Нет, пятнадцать, ребята, дорогонько... Кабы десять.

— То-то. Уж рядился-рядился...

— Разе мне сходить, а?

— Как хошь. Ну, а ты, Верещагин, што? Ради...

— Не знаю... — сказал тот ямщик, который спрашивал меня о вещах, и почесал голову обеими руками, положив шляпу в телегу.

— Ну, а ты сколько бы дал? — спросил меня другой ямщик.

— Как вы? Я думаю, придется пешком идти больше.

— Это обыкновенно: устанешь — присядешь; ну, и заснуть можно.

— Так сколько бы вы взяли?

— Да мы што! вон его проси... Верещагин, ради...

Верещагин отошел от ямщиков, пошел

медленно к воротам, почесывая голову и спину, что-то шептал, смотря в пол. Я шел за ним.

— Так как, дядя?

— Да пять рублей бы? — спросил он меня негромко и хитро посмотрел на меня.

— Много. Я бы три дал. Сам подумай: я вешу немного, да и не всегда буду сидеть. Опять тоже дождь...

— Насчет дождя не сумлевайся: рогозкой прикрою.

— Верещагин! Иди в баню, — кликнули мужики. Верещагин не говорил ни да, ни нет; я молчал, он тоже молчал и, по-видимому, тяготился мной, но отойти от меня ему тоже, должно быть, не хотелось.

Наконец мы разошлись. На другой день та же история; только вечером он согласился, по совету других ямщиков, взять меня за три рубля. Он мне дал денег полтину.

— Это на что? — спросил я.

— Уж заведение такое, потому это задаток, што я тебя не обману.

Однако денег я не взял; он, ради знакомства, позвал меня в питейную лавочку и угостил на свой счет осьмушкой водки, сказал,

что его зовут Семеном Васильичем, спросил мое имя, велел приходить завтра в десять часов, и мы расстались, пожав друг другу руки, — первый протянул он.

Идя домой, я раздумался о здешней простоте крестьян и удивлялся: неужели их не учили такие господа, как мазурики? Ведь в подобном случае мазурику очень легко выманить у ямщика полтинник. Однако здесь уже так заведено, что, вместо жестянок, ямщики дают деньги.

В десять часов я уже был на постоялом дворе, но там не было ни ямщиков, ни телег. Я испугался. Пошел в полукаменный дом. Кухня большая, с большим столом в переднем углу. В ней душно, жарко, два окна почти что залеплены мухами, по столу и лавке бродят табуны мух. Но хотя я сперва и назвал это помещение кухней, однако это вовсе не кухня, а комната, потому что направо двери в кухню, с печью, а из кухни в хозяйские комнаты. В кухне, около печи, сутилась высокая, толстая, годов сорока пяти женщина; в комнате пили чай молодая женщина недурной наружности и двое детей: мальчик, которого я ви-

дел вчера во дворе, и девочка лет восьми.

Не глядя на меня, хозяйка сказала, что ямщики поехали за кладью и к обеду, вероятно, приедут. Хотел я спросить ее — могу ли я посидеть в комнате, но она была слишком занята своим делом и меня вовсе никогда отроду не видала. Однако я присел на лавку у окна. Скучно. Не знаю, сколько я просидел, только хозяйка, спасибо ей, крикнула:

— Чего ты расселся, расстрига? Што у нас, разве для всякого проходящего постоялый-то устроен?

Я растерялся и не знал, что сказать ей в свое оправданье.

— Пошел, пока бока не наломали!

Я посмотрел на нее; вижу — женщина, пожалуй, втрое мясистее и сильнее меня, отводит кулаками так, что в другой раз совестно будет и показаться сюда.

Пошел бродить по рынку, зашел в трактир, но делать в нем мне было нечего: коли пришел, то, стало быть, нужно водку пить, кушанье брать, а я ни того, ни другого не хотел, да и на дворе так жарко, что готов бы, кажется, весь день в воде пробыть. Но уж если я зашел

в трактир, то должен непременно хоть рюмку водки выпить, а то сочтут меня бог знает за какого человека. Делать нечего, выпил рюмку: водка оказалась мерзейшая и стоит пятак. Спросил газету, — нет. Служители глядят на меня подозрительно; прошлась какая-то женщина сомнительного поведения. А народу в трактире нет, должно быть рано, да и ильин день.

Постоялый двор был уже запружен возами и пустыми телегами; лошади распряжены и ели корм. В полукаменном доме говор. Вышел из него один ямщик, и от него я узнал, что Верещагин и его товарищи пьют чай и что они после обеда поедут. Я присел на крылечко и от нечего делать стал наблюдать за лошадьми, этими работниками на большом сибирском тракте. Недалеко от меня стояли между двух телег две лошади бурой шерсти, лошади здоровые и крепкие. Одна из них, с сивою гривой, по-видимому, уже наелась, но все-таки ела, только уж так лениво, что ее можно было сравнить с екатеринбургской мещаночкой, сидящей вечерком за воротами и балующей себя кедровыми орехами; другая

лошадь, с черным хвостом, лизала гриву этой лошади, причем сивогривая лошадь очень благосклонно взглядывала на чернохвостую. Кончила есть сивогривая, уперла морду вниз, чернохвостая еще усерднее стала лизать ее лоб и спину, потом вдруг подошла к кошелю и стала доставать из него сено, но сена там не было. Все-таки она продолжала жевать, изредка вытаскивая из кошеля морду, а сивогривая лошадь стала лизать гриву этой чернохвостой подруги. Та хотела лечь, но лечь некуда. Я думал, что эти любезности исключение, но заметил в другом месте то же, только там две лошади лизали одну. При этом мне представилось то, как за барскими лошадьми ухаживают кучера, моя и чистят их, а так как крестьянских лошадей хозяева не чистят щетками, то они сами заботятся о себе. Под телегами и между ног лошадей сновали в разных местах курицы и петухи, нисколько не думая о том, что их могут раздавить; из них были даже такие, которые взлетали в телегу и храбро клевали овес.

— А, будь ты за болотцом! Здоров, Петр Митрич! — проговорил знакомый голос.

Я обернулся. Верещагин, в чистой, вчера надетой, рубахе, без шапки, стоял недалеко от меня и утирал раскрасневшееся от горячей воды лицо рукавом. Я подошел к нему, мы поздоровались: он крепко стиснул мою ладонь.

— Почем кладь-то взял?

— Да дешево, ну, да... шестьдесят две копейки с пуда... А корма-то ноне не приведи бог как дороги... — И он пошел к своим лошадям, которые у него стояли почти назади двора.

Стали выползать из дому и другие ямщики. Все они были в поту, так что плечи рубах были мокрые; говорили все весело, бойко; два молодых извозчика, по-местному — парни, годов восемнадцати, острили над пожилыми извозчиками, которые на их остроты сами отвечали — или желанием отколотить парней, или обругивали. Все ямщики рассыпались по всему двору. Немного погодя пять извозчиков присели на крылечко и, не обращая на меня внимания, о чем-то весело стали продолжать прежде начатый разговор и хохотали.

— Это што?.. А вот Яшка-то Крюков?! Ах, будь он проклят, штоб ему ни дна ни по-

крышки!

— Да, да!.. Ведь целую бочку вызудил, штоб ему лопнуть!

— Как так?

— Да ты не слыхал, што ли? Камедь какая, братец ты мой!.. первый сорт! Это повезли они с Иваном Кирьяновым вино. Ну, ладно. А Крюков и давай лакать...

— Вино-то?

— Ну. Да как: нужно трогаться, а он спит там у телеги и — плевать на все, говорит; хоть убейте его, так в ту же пору. Ну, знамо дело, не бросать же его: у него тоже две лошади; свалили... Только голова болтается, как поехали... А как проснулся — стали его есть, а он, гляди, опять пьян... На другой день опять... Просто сдивовались все! Ну, и стали примечать: потому в кабак не ходит ровно, а только что-то уж часто ведро полощет в речонках да воду пьет и с воды пьян делается. Только Степан Макушев и заметил: што-де Яшка около своей бочки подпрыгивает да ведров подсовывает на ходу? — ну, и словил. Это он, знаешь, дыру просверлил в бочке, да и заляпал тестом. Ну, Степан-то промолчал

сперва, а как к реке подъехали да пошли за водой, и Яшка с ведром, пошатывает его, таку-беду!.. Только Степан и говорит ребятам: «А што-то Яшка-то у нас нони уж чересчур лошадей-то поит, у него пошто-то и телега-то вино пьет?.. Кабы нам, братцы, в убытке не быть?..» Ну, значит, острамил, что называется, на всех, а Яшка и говорит: бочку доливаю, — потому текет очинно. Иван Кирьянов очинно осерчал, да мы общим стовором решили не показывать эту бочку, а сказать, што она разбилась; уж лучше всем испробовать заморского вина, как оно есть... Ну, а Яшку в лесу знатно выстегали... И не поморщился, будь он проклят...

В продолжение этого рассказа слушатели и рассказчик хохотали.

— Што ж, убытку-то много?

— Село-таки: рубля два только и пришлось получить при расчете. А Яшку от себя прогнали. В Тюмень, сказывают, с Безобразовым кожи повез.

— А со Степкой Мокроносовым-то какая оказия вышла! Слышали?

— Бочка с Суксуна улетела?

— Да... И черт ее угораздил слететь. Гора-то, е! страсть, как крута... Бочка только подпрыгивает... Щепка щепкой... Страсти...

— Не приведи бог... Уж эта гора сидит нам, Христос с ней.

Пришел Верещагин и спросил меня: обедал ли я? Мне очень хотелось есть, но я не знал, куда идти, да и боялся, что ямщики меня не станут дожидаться.

— Подем в избу.

— Неловко как-то, народу много. Еще помешаю; да и хозяйке я не понравился.

— А, будь ты за болотцом! Подем.

Во дворе, кроме Верещагина, ямщиков не было. Я пошел. В комнате, за большим столом, сидело человек пятнадцать ямщиков. Они хлебали щи, запивая водкой. Все или говорили, или хохотали, или ругались.

— Хозяюшка, можно мне пообедать? Я заплачу, — спросил я хозяйку.

— Вот выдумал! У меня нет для тебя ничего.

— Да мне бы щей.

Хозяйка промолчала. Я сел на лавку. Каравай хлеба скоро исчезали один за другим; хо-

зьяка то и дело наливала в деревянные чашки щи; ямщики то и дело просили хозяйку прибавить щец и говядинки. Я закурил папироску. Над Верещагиным острили, он хихикал в руку и говорил только: «А будь ты за болотцом!» — но потом его чем-то попрекнули, заговорили все против него, он только говорил обидным голосом: «Разве я виноват! Бога бы вы побоялись обижать бедного человека».

— Вот уж! Ты всегда больше других клади накладывать.

— Зато у меня лошади не вам чета.

— А вот мы попробуем в передние пустить.

— Эй ты, долговязая бестия! Пошел отселева! — крикнул на меня один здоровый ямщик, с черными волосами.

Я не трогался, потому что не знал, за что я не понравился ямщику.

— Тебе говорят, стеклянные шары. Ты слеп, што ли, што мы едим, а ты тут с твоим проклятым табачищем...

— Да ты поди, коли тебе говорят, до греха... будь ты за болотцом, — обратился ко мне сочувственно Верещагин, — не ровен час — ребята изобьют.

Опять я сел на крылечко и думал о том, что я глупо сделал, что стал курить табак тогда, когда ямщики обедают. Я еще не знал обозной жизни, и мне сделалось совестно. Возражать тут нельзя: избыют так, что и никогда не выедешь из Екатеринбурга.

Из избы вышел высокий пьяный ямщик, он то и дело натыкался на что-нибудь и, доползши до меня, грознулся ко мне и взял правой рукой за мои волосы.

— Ты меня знаешь!! Я Иван Пантелеич. Да! Я во как орудую!.. — И он потянул руку с моими волосами, так что я чуть не вскрикнул. Вдруг он обнял меня и давай целовать.

— Ты мне понравился... Ты!! А ты скажи, подлец я али нет?.. У меня деньги отняли, спрятали... А я гуляю... во!! Я исправен. Исправен я или нет?

— Исправен.

— Исправен!.. А они деньги зачем взяли, подлецы? Ты это скажи... Ты грамотной?

— Грамотной.

— Ну! — и он плюнул так, что свалился на землю.

В это время стали выходить из комнаты

ямщики, тяжело отпыхивая и завязывая пониже животов пояски. Стали они смеяться над пьяным ямщиком, тащили его спать, но он барахтался так, что с ним ничего не могли сделать.

Я пошел опять в комнату, для того, чтобы попросить есть. Там, сидя в переднем углу, толстый лысый ямщик, в ситцевой розовой рубашке, отсчитывал бумажки и отдавал их ямщикам. Это значило, что ямщики получали деньги, но за то ли, что они подрядились везти кладь, или за то, что привезли и сдали кладь, я не знал. Хозяйка сказала, что для меня неприготовлено кушаньев, и вдруг, когда я пошел из комнаты, она сказала:

— Эй, ты, долговолосый кутехлеб! Щи остались: коли хошь, за полтинник накормлю.

— Нет, этак дорогонько.

— Видно, што христарадник, О-ох, штоб вас... Ямщики поили из ведер лошадей, потом одни из них запрягли лошадей, а другие отчасти легли спать в пустые телеги, отчасти разбрелись.

Скучно было ужасно. Ямщики то, переминаясь, разговаривали друг с другом, то выхо-

дили зачем-то за ворота и, постояв там, возвращались обратно во двор, то куда-то уходили и долго не возвращались. Я чуть было не потерял терпения и хотел совсем идти на квартиру, но Верещагин подошел ко мне и, как видно, что-то хотел сказать, но молчал.

— Скоро ли тронемся-то?

— Совсем готово... А жара-то какая, пресвята богородица!

— Неприятна она, я думаю, вам?

— Зима лучше, только тогда лопоть носится, а теперь ходи хоть нагишом. Жарко!.. — И он заговорил с подошедшим ямщиком о каких-то бечевках.

— Я было хотел попросить тебя... Одолжи рублик, — проговорил он мне нерешительно.

Я дал и попросил его выпить водочки.

— Покорно благодарны, Петр Митрич.

— А што?

— Да вишь! и так сопрел... Ужо на ночь... Ночевать-то мы нони не будем.

Наконец, часу в седьмом, ямщики засустились. Кто почему-нибудь не успел смазать колеса, теперь смазывал на скорую руку. Вывели одну лошадь с возом, за ней другую, тре-

тью — это выведение продолжалось четверть часа, потому что ямщики мешкали, а по дороге шел к другому постоялому двору длинный обоз, возов в тридцать. Вторая лошадь была привязана за задок первой телеги, третья за задок второй, четвертая за задок третьей телеги; пятая лошадь не была привязана, зато после нее две лошади были привязаны. Выполз наш обоз, но не весь только двенадцать возов, а во дворе их было еще много. Хозяева передних лошадей, выведенных на улицу, стояли впереди обоза и понукали остальных ямщиков. Наконец выполз и Верещагин на улицу, держа за поводья лошадь; к задку телеги привязана лошадь, а за другую телегу тоже привязана лошадь. Верещагин крестился и говорил: господи благослови!

— Петр Митрич, садись благословясь.

— Куда? — спросил я.

— А вот, — и он указал мне на передок второй телеги. Места перед возом, то есть кладью, покрытую крепко-накрепко циновками, было столько, что сидеть можно свесивши ноги, а спать можно было — скорчившись поперек дороги и телеги. Я не сел и отговорился

тем, что еще успею устать.

## II ПУТЕШЕСТВИЕ

Наш обоз, состоявший из тридцати двух лошадей, тащивших тридцать два воза с салом, свечами и стеклом, шагом подвигался вперед по улице и занимал пространство на протяжении, по крайней мере, сажен полутора-раста. Вот первая лошадь повернула — и, мало-помалу, мы были уже на тракту, то есть на улице, где идет телеграф. Ямщики идут врассыпную по дороге, лошади идут ровно, тихим человеческим шагом, и не останавливаются, ветерок поднимает впереди пыль, по дороге то и дело, вперед и обратно, едут проезжающие на тройках, на двух лошадях, едут городские жители в телегах и пролетках, мастеровые верхом. Воздух сперся от жары в пыли, а наши лошади еще более поднимают ее с дороги, и эта пыль в четверть часа успела покрыть уже наши сапоги, фуражки и шляпы.

Я торжествовал: во-первых, радовался, что наконец-то тронулся в путь и через шесть дней непременно буду в Перми, во-вторых, я,

не ходивший никогда по сотням верст, мог теперь испробовать себя. Городские жители, едущие и глядящие из окон на обоз не из любопытства, а ради развлечения, удивленно смотрят на меня и, вероятно, думают: бедный семинарист поехал об месте хлопотать. Я обращаюсь несколько раз, с радостью гляжу на большой пестреющий город, и мне то улыбнуться хочется, то вдруг делается скучно, и бог знает о чем и о ком...

— Петр Митрич, ты ел ли?

— Ел, — солгал я. А в роту у меня сохло от трубки. Хотелось больше всего пить.

— Не выпить ли на дорожку-то? — спросил меня Верецагин.

— Пожалуй.

Зашли — выпили по стаканчику; водка известкой отзывает; купил на двадцать копеек десять сухих крендельков, попотчевал Верецагина, сам стал есть — горло сохнет, в горло пыль лезет. Прошло полчаса, вдруг я взглянул вперед — ямщиков нет, назад — тоже. Неужели, подумал я, у ямщиков такое заведение, что они заходят, по выезде из города, выпить на дорожку? Но выпивающим-то оказался

только я, как я узнал после, потому что все ямщики, в том числе и Верещагин, уже крепко спали, кто на возах, кто в телегах. Для образчика я приведу две картины. Идет обоз на протяжении полутора сажен; лошади большею частью привязаны к телегам; те, которые не привязаны, идут на шаг отставши, но не сворачивают с линии направо или налево, одним словом, имеют вид цепи, так что если бы случилось сдвинуть с дороги средний воз в сторону, то нужно начать движение с переднего воза. Лошадям жарко; они или взмахивают хвостами, головами, или стараются во что бы то ни было достать из телеги сено или железное ведро, чтобы облизать его. Передней лошади предоставлено право глядеть во все стороны, остальным же только в железные ведра и метки с сеном, из которых, впрочем, весьма трудно достать хоть клочок сена, а по сторонам лошадям ничего не видно. Если же передняя лошадь остановится, тогда остальные лошади, стукнувшись лбами об воз, останавливаются и начинают неистово тормозить мешок с сеном. Поверх второго воза, на животе, лежит ямщик, так что ноги

болтаются, а голова лежит в шляпе, руки засунуты под циновку, обе ладони, сходясь с двух сторон, наподобие обхвата, находятся как раз под горлом, циновка же, крепко привязанная толстой веревкой, ни по какому случаю не сорвется. Таким же точно образом лежал другой ямщик в телеге на передке, и так как доски на передке не было, то голова и туловище его лежали в телеге, а ноги болтались на ее крае. Верещагин лежал тоже на своем первом возу; но я еще и садиться не пробовал на его вторую телегу.

Проехали острог, началось кладбище; на кладбище гулянье. Мужчины и женщины ходят или попарно, или по нескольку человек; группы в разнообразных костюмах сидят в разных местах на могилках, курят папиросы, сигары, разговаривают, хохочут, напевают веселые песни. Я подошел ближе к решетке кладбища и, по мере того как я шел, я замечал разные картины: в одном месте играли в карты, в другом двое мужчин потчевали молодую женщину водкой, в третьем целовались, вероятно, клялись у могил в вечной любви... Я слышал от горожан, что это клад-

бище теперь превратилось в гулянье с особенной целью, только на нем еще пока не танцуют.

Вот уже и лес по обеим сторонам трактовой дороги, но этот лес стоит точно напоказ начальству, потому что сквозь него просвечивают огромные пространства пустых мест. Ноги устали, петербургские сапоги с каблуками, кажется, начинают стаптываться; я сел в назначенную мне телегу — неудобно: сел я точно в яму, по ногам в этой яме нет места, нужно их свесить к лошади; я свесил — колени выше головы, трясет ужасно, спину отбивают ящики, ноги отбивает передок телеги, хвост лошади зацепливается за сапоги с каблуками. Кое-как я высвободился из ямы и сел поперек телеги — удобно: ноги упираются в телегу, под спиной узелок, только на бок лечь невозможна; спать не хочется, да и лечь на живот боюсь. Так я просидел немало; бока болят, ноги ноют, глядеть решительно не стоит — то тощее поле, то лес, да и глядишь в одну сторону. Закурил трубку. Вдруг подходит сзади Верещагин. Лицо у него в пыли, грязное, ладони черные.

— Ладно ли сидеть-то? — спросил он меня.

— Не совсем. Он взял мешочек, но без мешочка сделалось еще хуже.

— Ты бы дал мне мешочек-то.

— О, будь ты за болотцом! — И он кинул мешочек на передний воз.

— А тебе ловко ли самому-то на возу?

— Ничего. С семнадцати лет в обозах хожу, а теперь никак, с нового года, сорок первый пошел... Брюхо только што-то, господь со мной, покалывает.

— Это оттого, что ты наелся-то ловко, да потом и лег животом на воз, а трясет-то знатно, — объяснил я.

— Не знаю... Не оттого это: прежь не баливало же.

— А я вот што хочу тебя спросить, Семен Васильич: пошто это у вас одни лошади привязаны к телегам, а другие нет?

— О, будь ты за болотном! и этого-то не знашь: уж заведенье такое.

В это время у одной его лошади дуга развязалась, и он остановил свою переднюю лошадь; половина обоза пошла, оставив за собой другую половину обоза, которая стояла. Я

слез с телеги.

— Скорее копайся, вахлак! — кричал на Верещагина лежащий на возу ямщик.

— Ну-ну!.. о, будь ты за болотцем, козленок! Ишь ведь, все непорядки у тебя, соколик, — наговаривал лошади Верещагин; но лошадь только тяжело вздыхала, изредко переминаясь с ноги на ногу.

— Скоро ли?.. Аль ночевать нам здесь? — кричал ямщик сзади. Голос его далеко раздавался в лесах.

Верещагин слегка свистнул передней лошади, и она пошла. Он сел на козлы и стал погонять ее витнем. Лошади пошли несколько скорее прежнего, и через четверть часа мы нагнали другую половину нашего обоза, которая поджидала нас.

Стало темнеть; свежо так, что меня, в легком пальтишке без подкладки, стало пробирать, но зато теперь было не в пример лучше того времени, в которое мы выехали из города: главное, мне казалось, что пыль не попадала в рот, а садилась скоро опять на землю; дышалось свободнее. Я шел по мягкой траве, растущей около телеграфных столбов, и пел,

от избытка чувств, во все горло, не обращая внимания на часто проезжавшие тройки, с закрытыми фартуками повозками.

Должно быть, было часов десять, а темно. Привлекательного ничего нет, вероятно потому, что я мимо этих мест проезжал не один раз, да и что привлекательного в небольших холмах, кустарниках березы, тощих полях, покосах, на которых разложены огоньки... Вот наконец попало какое-то село. Проехали несколько домов, в окнах огня не видно, на трактовой улице пусто, на одной телеграфной проволоке бечевочка болтается. Не спит только один кабак; я пошел в него и позвал Верещагина; он пошел с удовольствием, сказав: теперь к ночи — холодно будет еще не так, особенно на этих горах.

— А ты будешь спать? — спросил я Верещагина.

— Нет. Ночью боязно. Хоть место и не опасное, да все же. И пора-то хорошая: днем жара... Дождичка бы.

В кабаке сидела женщина. Выпили.

— А есть у те, тетушка, огурчики? — спросил я ее.

— Где бы я взяла?

— Не садите?

— Не родятся.

У нее я купил два яйца.

Опять пошли. Верещагин, похлопывая по траве витнем, напевал, тоже верно от избытка чувств: «милосердие двери разверзи, благословенная богородица дева...» Однако скоро замолчал.

С час я шел с Верещагиным. Это был человек неговорливый: он или насвистывал сквозь зубы, или что-то мурлыкал и на редкие мои вопросы отвечал. От него я только и узнал, что он ямщикит двадцать лет; имеет три лошади, остальные лошади принадлежат другим ямщикам; что в ихнем обозе теперь идет девять ямщиков; те лошади, что идут на привязи, принадлежат разным ямщикам, и в обозе есть начальник, Андрей Степаныч Крюков, который ведет четыре лошади, но в чем заключается его начальство, он не объяснил. Девять ямщиков, одевшись в свои зипуны, шли около телег молча. Переговаривались они неохотно и очень редко.

Залез я в телегу, прикрылся, как можно

плотнее, пальтишком, но от холода не мог заснуть. Бока болели, ноги ныли, верхняя часть лба так чесалась, что не рад был и житью. Припомнилось мне о том, как я прежде, в детстве, ездил с почтами, сидя на чемоданах. Я тогда то же испытывал, что и теперь, сидя в телеге, но зато не ходил и ехал очень скоро.

И все-таки я заснул. Проснулся. Холодно. Пальто открывать не хочется, но мне кажется, что телега стоит. Да. Ее не взбалтывает на разные манеры, лошади стучат копытами, хрумкают... Я открыл пальто и взглянул: темно.

Кое-как я увидал в темноте бревенчатую стену. Я встал, поглядел в другую сторону и узнал, что я на постоялом дворе, под навесом. Направо высокое крыльцо, окно видно в доме; солнце уже начинает пробиваться в верхний угол стекла. Ямщиков нет. Я пошел к крыльцу, поднялся: большие сени, вроде темной комнаты; налево, в углу, большая кровать, на ней спит, кажется, женщина, около нее молодая, высокая, толстая женщина раздевается. Но она меня не заметила, и я вошел в избу направо. Там, на скамьях и на полатях,

спали наши ямщики; старая, но высокая, толстая женщина, в ситцевом сарафане, босиком, щепала лучину.

— Бог на помочь! — сказал я этой женщине.

Она с трудом выпрямилась, кашлянула и совсем охриплым голосом спросила:

— Ты с ямщиками?

— С ямщиками. Можно лечь?

— Ложись.

Мне хотелось спать, и я, не разбирая места, свернулся на полу между лавкой и дверьми и тотчас заснул; но спал немного.

— Ишь, стерва, будь ты проклятая! до коих пор шаталась... Вставай! — говорила то настоящим, то охриплым голосом старая толстая женщина.

На это ей никто не отвечал.

— Ах, как учну я те щепать, прокляненную!

— Мамонька... Я сичас.

В избу ввалилась старая толстая женщина, тяжело ступая босыми ногами; она двигалась медленно, и если ей нужно было повернуть в которую-нибудь сторону голову, она поворачи-

чивалась всем туловищем; если ей нужно было наклониться, то она кряхтела, лицо становилось красным. Печка уже истопилась, и хозяйка садила в нее хлебы. Вошла, не торопясь, ее дочь, та самая, которая недавно раздевалась; она куксила глаза и ежеминутно зевала, как бы стараясь убедить свою мать, что она не выспалась. Но матери было некогда, она торопилась, а в это хлопотливое время она, вероятно, была очень раздражительна и забывала все услуги своей дочери, так что ее и спрашивать нужно осторожно.

— Ишь, гостыюшка, выплыла... До коей поры пролюбезничала?

— Да я... Ишь, какая! — проговорила дочь обидчивым голосом.

— Што, по твоей милости, голодать коровам-то да курицам?

— Да я сейчас! — крикнула дочь и пошла к двери.

— Ах ты, проклятая!.. Куда ты пошла? Умойся сперва, стерва!

Во все это время мать мыла чашки и ложки. Дочь стала умываться.

Мать и дочь молчали. Потом дочь сходила

в комнату и босиком ушла во двор. Я встал, подошел к окну, набил трубку нежинскими корешками и не знал: что делать с трубкой? где курить? — однако отворил окно, закурил и старался пускать дым на улицу. Дом этот на тракту, налево тракт, или улица, заворачивает; дома старенькие, построены друг к другу тесно, и хотя я несколько раз проезжал мимо этих домов, но теперь не мог понять по ним: что это такое — станция, или село, или завод? Однако по одному дому и по некоторым словам хозяйки я узнал, что это завод, но какой?

— Ты, почтенный, не кури здесь: я не люблю. Поди, выдь на улицу.

Я ушел.

Солнышко уже поднялось примерно на вершок выше крыши дома налево. Ветра нет, и не жарко. В нижнем этаже соседнего углового полукаменного дома говор: там мужчины и женщины пьют чай и едят пироги. Из ворот противоположного дома, тоже полукаменного, выехали в телеге четыре женщины и один мужчина; из телеги выходят наружу литовки и грабли. К этим домам, и преимущественно к постоялому, то и дело подбегают де-

сятками, пятками, тройками мальчики и девочки, очень бедно одетые, босые, с набирухами и без набирух, и неистово вопиют: «Милостинку, ради Христа!» Им кидают из окон ломти ржаного хлеба. Подошли и ко мне штук десять ребят, от пяти до семнадцати лет (одной девочке было около семнадцати лет), и завопиали. Я поглядел на них: тело немывтое, рубашонки грязные, по ним бегают огромные вши, ноги по колена в грязи и имеют вид чугуна, волосы на головах всклокоченные.

— Бог подаст, — сказал я. Они стали поодаль и начали ругать меня. Подошел ко мне мальчик лет восьми, с белыми волосами, за ним другой, поменьше, и оба, протягивая руки, робко простонали: милостинку, барин...

— У те есть отец-то? — спросил я мальчика.

Он дико смотрел на меня, мальчик поменьше отошел прочь и издали смотрел на нас.

— Тятка-то жив?

— Не...

— А мамка?

— Не...

Я ему дал пятак и спросил, куда он деваает деньги, но он убежал.

Нищих, ребят было так много, что они осаждали почти на каждом шагу; я прошелся несколько по улице, увидел церковь и потом круглую, красную крышу вдалеке — и узнал по ним Шайтанский завод.

Ямщики между тем встали, сходили к лошадям и начали умываться; умылся и я, вытер лицо белым платком — зачернил платок. В волосах было так много песку, что гребенка не лезла, пришлось отложить попечение о волосах. Ямщики свои волосы не расчесывали. Хозяйка поставила на стол полутораведерный самовар, чайную посуду, принесла две большие булки. Ямщики перекрестились и сели за стол. В переднем углу сидел тощий, угреватый ямщик. Хозяйка подсела к ним на табуретке.

— Совсем, ребята, охрипла: квасу холодного напилась! — говорила хозяйка, поминутно кашляя.

Ямщики на это говорили, что нужно пить малину или траву такую-то. Все говорили, но

первую чашку еще никто не выпил.

— А ты, дворничиха, много-то не растобарывай! забыла? — сказал ей сидевший в переднем углу ямщик.

— Ах, господи! из ума вон! Прости, ради Христа... Марья! а Марья? — крикнула она.

— Ну-у!

— Принеси бутыль да стакан.

— Это дело. А то горло засохло.

Начали говорить о погоде; все желали небольшого дождичка. Речь зашла об овсе и сене.

Дочь дворничихи принесла бутыль и стакан. Дворничиха налила в стакан водки, поднесла его сидевшему в переднем углу, тот перекрестился, пожелал хозяйке доброго здоровья, выпил, и сказал: «Важно! вот это дело! а ну-ка, повторную?..» Все ямщики, за исключением парней, выпили по два стакана, парни выпили только по одному стакану. Началось чаепитие, и в десять минут, за первой же чашкой, двух больших булок не стало; дворничиха принесла еще три. Мне хотелось тоже попить чайку, у меня и чай, и сахар был, но просить посуды было неловко при ямщиках:

они на меня подозрительно смотрели, и каждый как будто порывался сказать мне, чтобы я убирался из избы.

— Хошь чаю? — спросила меня дворничиха.

— Покорно благодарю. Если позволишь, я своего всыплю.

— Ну! у меня чаек прямо с Китаю. Пей, да бери сливок и булки.

Делать нечего, я взял чашку, налил сливок и взял ломоть булки. Булка сырая, кислая, но, за неимением лучшей, на голодный желудок и за это слава богу.

— Ты, кутейна балалайка, отколь? — спросил меня один ямщик.

— Родом, што ли?

— Ну?

— Чердынского уезда.

— А зачем ездил?

— Жениться.

— Што ж, много взял приданова?

— Дом в селе да дьяконское место. Лошадь есть... Только невеста вдвое старше меня.

— По приказу, значит?

— Да.

— То-то! Одного разу также ехал семинарщик по невесту; а назад как приезжает, с обзвом же, я и спрашиваю; а он и говорит: впутали, Анна Герасимовна, — на другую неделю после свадьбы дочь родила...

Все бывшие в кухне захохотали — и хохотали минут пять.

От этого перешли к семейной жизни. Один ямщик очень плакался на то, что у него умер большенький паренек, которому после николина дня пошел десятый год и которого он намеревался взять на следующий год с собой. Другой ямщик говорил: «Да у тебя еще, никак, трое парней?»

— Все же жалко. Хоть этот, этот и этот палец откуси, все больно! — доказывала дворничиха, показывая, как пример, свои пальцы.

С этим все согласились. Хозяйка, как я заметил, была женщина практическая и до тонкости понимала свое дело. У ней, как видно, даже советуются ямщики. Верещагин редко принимавший участие в разговорах, вдруг сказал:

— Ты не слыхала, Анна Герасимовна, — Илья Дуранин продает телегу?

— Продает, сказывают; да, сказывают, не стоит того, што он просит. А ты што, покупать, што ли, хошь?

— Надо бы. Задняя-то у меня што-то больно разваливается.

— А вот Осип Покидкин, знаешь, што с Ключаревым Степкой ходит, продает новую. Эту бы я посоветовала тебе взять.

— И то! Покидкин не какой-нибудь прощелыга. Ему верить можно завсягды! — сказал сидевший в переднем углу ямщик.

Начали говорить о плутнях разных ямщиков и подрядчиков. Языки ямщиков, после выпивки водки, точно развязались: каждый старался что-нибудь сказать от себя такое, чтобы это удивило всех и он бы один рассказывал, но верх брала все-таки дворничиха. Рассказывали про какого-то подрядчика. Все о нем кое-что знали, но самой сути не знали: вероятно, они слышали об этом подрядчике от хозяев и хозяек других постоянных домов, которые, в свою очередь, получают сведения тоже от ямщиков.

— Нет, вы все не так судите; я достоверно знаю, откуда он приобрел капиталы. Он мне

ни сват, ни брат, ни большая родня... Он одно-во разу купца вез с любовницей, купец-то умер в дороге, а его любовница денежки подобра, только он эти деньги-то украл у нее и спрятал потом в косяк. Любовница-та не посмела назваться, а он все помалчивал.

— Экое, подумаешь, счастье человеку!

Каждый ямщик выпил по десяти чашек чаю. Выпили два самовара, поблагодарили хозяйку за чаек и пошли во двор попоить коней. Сидевший в переднем углу ямщик стал шептаться с дворничихой и отдал ей красненькую бумажку, потом и сам вышел на двор.

— Трудновато, поди, вам одной-то? — спросил я дворничиху.

— Што сделаешь... одна. При покойнике муже легче было.

— А вы заводские?

— Он-то прикащиком был по каравану, да простудился. Поправиться-то поправился, да дохтура не послушался: стал табак проклятый курить и вино пить... А вот ты хоть и ученый, а табак куришь, а того и не знаешь, поди што грех.

— Это, тетушка, ничего: что в уста идет, ничего, а из уст...

— Справедливы твои речи, только табак я тебе не советую курить, потому человек, аки былинка, сохнет.

— Это точно: на легкие садится. Запищали под окнами нищие.

— Ах, штоб им околеть, проклятым... С богом! — крикнула дворничиха.

Немного погодя опять писк.

— Вот уж сегодня третью ковригу подаю, — сказала она, отрезывая три маленькие ломтика.

— Господь сторицею вознаградит за ваше благотворение к неимущим, — сказал я.

— Ох!.. И што это за напасть такая! и откуда взялись эти нищие? Прежде и отродясь этого не бывало... Вишь ли, до воли-то никто не смел из завода отлучаться, держали так крепко всех, што все в повиновении были, тише воды, ниже травы жили, а как уволили, и пошли они в другие места.

— Однако я замечал мужчин.

— Ну, ведь не всем же мужчинам уходить. Ушли пьяницы, да кои не хотят за покосы

платить... Ну, и детей побросали... Бабы тоже, кои нищенками живут в городах, а кои здесь работами занимаются.

— Какими?

— Да вот хоть бы я на покос созвала. Ну, накормлю, спасибо скажет.

Через полчаса дворничиха накрыла скатертью стол. Ямщики, умыв черные ладони, перекрестились и сели за стол в таком же порядке, как и чаевали.

— А ты што, попович, не садишься? — спросил меня сидевший в переднем углу ямщик.

— Боюсь, как бы не помешать вам.

— Не помешашь, коли сам не брезглив. Чать, со вчерашнего-то утра, окромя чая, ничем не питался.

Я сел. На столе стояли три большие деревянные чашки, деревянная солонка с солью, коврига хлеба и несколько деревянных ложек, смешанных с двумя ножами и двумя вилками.

Дворничиха налила из чугуна щей в чашки. Щи были очень вкусные, со свежей капустой, картофелем и морковью, бульон жир-

ный. Ложки тоже аппетитные, такие, что не влезали в мой рот. Все говорили, только я молчал сперва, но потом ко мне привязался парень-ямщик и стал спрашивать — пошто я стеклышки ношу? От очков разговор перешел к татарам, которые не любят семинаристов. Один ямщик рассказывал мне, как один семинарист стащил в татарскую мечеть свинью; но это была уже старая история. Дворничиха несколько раз подливала щей в чашки и приносила, кажется, до трех караваев хлеба. Из той чашки, из которой я брал щи, хлебали еще трое, но я уже был сыт на второй чашке и четверть часа сидел, поглядывая на ямщиков. Сидящий в переднем углу ел не торопясь и преспокойно разговаривал о каком-то плотнике; сосед его по правую руку хлебал больше всех и первый требовал прибавки щей; двое безбородых ямщиков вторую чашку прозевали, потому что занимались крошением хлеба, тогда как товарищи уписывали. Верещагин горячился, двое подзадоривали его, а третий трепал его по волосам. После щей дворничиха наклала говядины. Надо заметить, что крестьяне и вообще ямщики не хлебают

с говядиной, а говядина у них второе блюдо. Съели шесть тарелок. Я был сыт донельзя, но меня заставили.

— Ты, поповское отродье, што модничаешь? — спросил меня один ямщик.

— Сыт.

— Врешь. Ешь! по-нашему ешь. — Да не могу.

— Ребята, давайте ему в рот накладывать? — сказал соседний со мной ямщик. Но, к моей радости, этого, впрочем, не исполнил никто. Выйти из-за стола было неловко: я бы не почел стол.

Подали большой горшок каши, — не грешневой, а просовой, — и белого хлеба. Кашу выхлебали, но до белого хлеба никто не дотронулся: значит, все были сыты.

Поблагодарили хозяйку. Я спросил ее, сколько ей нужно за чай и обед; она спросила двадцать пять копеек. Ямщики стали поить, потом запрягать лошадей.

— Выгодно ли вам, хозяйюшка, содержать постоялый дом? — спросил я дворничиху.

— Бог милостлив: кое-как на харчи сходится. Все одна — это беспокоит.

— Ну, вот дочь выдашь замуж.

— Ну уж, и зятя-то всякие есть. Есть у меня знакомая в Билимбаихе, ну, да она, правда, строга очень, выдала дочку, а зятек и плевать хочет, и жену от дела отводит; так она и мается одна. Ведь шутка: ни днем, ни ночью отдохнуть нет... За мою-то дочь двое сватаются, да я еще и не отдам, потому мне нужно помощника: ведь у меня четыре коровы, куриц одних сорок пять... Женихов-то нони хороших нет: пьяницы да ленивцы, прости господи.

— А другие у вас останавливаются, кои не с обозом едут, а обратно?

— Таких я не принимаю; разве уж хорошо знакомого. Расчету нет, потому раз — такому много ли надо овса на одну лошадь? а другой насорит да съест на сколько... Нет, невыгодно.

— Должно быть, вы немало за это платите казне?

— Што?

— Да ведь постоянные дома берут, кажется, свидетельства.

— Я не плачу, потому у меня только ямщики останавливаются.

— Здесь, должно быть, много постоянных домов?

— До десятка наберется, — обозов-то много ходит.

Поехали. Я сидел в своем гнезде; ямщики шли врассыпную; в заводе мало движения, тихо, только из Перми проехало девять троек; в телегах сидело по четыре, по пяти человек ссыльных. Поднялись на гору, опять спустились. Живот колет, сидеть невозможно, я слез. Верещагин тоже шел.

— Живот болит, Семен Васильич!

— О, будь ты за болотцем!

— Сперло. Много наелся; истрясло... Верещагин захохотал.

— А баба славная. Мы у нее всегда останавливаемся, ни в чем не отказывает.

— Много ли она с вас берет?

— Да чево ей братъ-то с нас? Ведь она за маленьку-то овса берет с каждого по восьми гривен, а в маленке полпуда, а пуд овса ей обходится по восьми гривен.

— Ну, вы бы у других брали.

— Ох ты, — у других брали? Тогда, значит, нам как быть, — голодом? А вот мы за то и

уважаем ее, што она нас кормит хорошо. Такого обеда нигде в другом месте не найдешь, окромя дворников.

— Значит, дворники вами кормятся и наживаются... Я думаю, и тебе хочется быть дворником.

— Куды!

Въехали возы на гору. С горы вид великолепный: виден Шайтанский завод, который сидит точно в яме; над ним со всех сторон возвышаются разных величин горы; лес чем дальше, тем больше кажется черным; кое-где в этих черно-зеленых, черно-синих группах, слоях попадаются серые и красные четырех-, пяти- и многоугольники, которые отсюда кажутся очень маленькими, как и все, что находится впереди, но они, эти угольники, заключают в себе, по словам Семена Васильича, целые десятки верст.

### III

# КРЕСТНАЯ МАТЬ

Проехали Билимбаевскую контору вольной почты, битком набитую проезжающими, проехали постоянные дворы, битком набитые телегами и ямщиками. Жизнь кипит в заводе; по случаю праздника, ильина дня, народ идет в церковь, много едет во дворы домов телег с мужчинами и женщинами, с литовками, граблями и травой. Завод по тракту очень чистенький, но чем дальше вовнутрь, тем он больше походит на большое село. И здесь, по тракту, в двух местах ребята стараются закинуть на телеграфные проволоки клочок рогожки с камешком, бечевочку.

Опять лес, но лес редкий. Мы ехали не по тракту.

— Отчего мы не по тракту едем? — спросил я Верещагина.

— Через Чусовую бродом поедем. Крюк большой, да што делать. Там, на пароме-то, деньги берут, да и до вечера прождешь, потому господ больше нашава уважают, хочь и да-

ром перевозят.

— А перевозчикам, поди, убыток?

— Дурак разве какой на пароме поедет теперь...

— Ну, а несчастных случаев не было?

— Был раз: с чаем воз утонул, так давно, не туда поехал, ночью.

Около деревни Коноваловой мы перешли через Чусовую — грозу в весеннее время для дорог. Здесь она имеет ширины сажень тридцать, а, судя по песчаным берегам, весной она имеет глубины сажени на полторы; теперь же она хотя и разливается по всему дну реки, но имеет глубины в этом месте полторы четверти. За деревней я увидел вдруг около нашего обоза двух женщин и одного мужчину. Женщины были одеты в пальто: на головах у них платки, в руках палки; мужчина шел в халате, в фуражке, за плечами у него болтаются мешочки, в руках палка, а лицо его избито.

— Это что за люди? — спросил я Верещагина.

— А тоже, как ты, едут: две-то — богомолки, а тот-то — не знаю кто. Все ж перепадет им.

Четыре ямщика спали на возах, двое шли, остальные сидели на передках телег. Я пошел около женщин; их узлы лежали в телегах.

— И што я тебе скажу, Офросинья Ивановна, — так-таки и зарезала. А как зарезала, целая история, я те скажу. Вишь, отец-то — прикащик, ну, знамо, первый богатей. А она и влюбись, и в кого?

— Мать пресвятая богородица!

— В ково бы ты думала?.. Это, матушка, загадка...

— В управляющего?

— И! кудахватила... — Потом она увидела меня и спросила:

— Вы, господин, из духовенства?

— Да.

— Из каких мест уроженец?

— Екатеринбургского уезда.

— Фамилия?

— Федоров, Петр Митриев.

— Знаю, знаю. Ваш батюшко не служил ли в Сысертском заводе?

— Служил.

— Ну, а вы меня не узнали?

— Нет.

— Ведь я крестная мать ваша...

— Что вы? как это?

— Да, я жена... — И она назвала мастера, фамилию которого я позабыл. — Я вас воспринимала, когда гостила у вашего батюшки...

— Ваша фамилия?

— Подосенова, Агния Потаповна.

— Так вы, верно, ошиблись; у меня другая была крестная.

— Неужели?.. А я ведь вас так и приняла... Извините, Христа ради... Што же вы, жениться ездили? — спросила она меня, смотря на кольцо на руке.

— Да, женился. — Где взяли?

— А в Крестовоздвиженском селе дьяконская дочь.

— А как ее по фамилии? — спросила другая.

— Пантелеева.

— Эдакое вам счастье: ведь я от купели принимала Анну-то Павловну? Я дьячиха была, да потом муж-то мой в солдаты нанялся. Я в селе-то восемь лет не бывала... Хорошую вы жену выбрали!

Я был в западне и не знал, верить или нет этой женщине, которую я ни за что ни про

что должен был называть крестной матерью и оказывать ей почтение. Я-то врал по необходимости, только на меня навернулись бабы ловкие, как видно; а может быть, они и правду говорят.

— Куда вы идете? — спросил я крестную мать. — Да иду ко святым мощам, до Киева... Ах ты, мой батюшко! Сподобил-таки господь увидеть мне зятка. Ну, а матушка-то ее, как ее...

— Анна Ивановна, — врал я.

— Да, да... жива ли?

— Умерла. Поэтому-то мне и предложили в консистории эту девицу и место, а она оказалась старуха, и я этим очень недоволен.

— Што ты, Христос с тобой! духовный человек — и говоришь такие речи. Анна-то Павловна девушка-то была все равно что лебедь.

Разговор о мнимых моих родных продолжался долго. Женщина считала меня действительно зятем, потому что она в самом деле была восприемницей какой-то Анны Пантелеевой.

Товарка ее встретила с ней в Решотах, и они скоро подружились. Крестная мать своей

попутчице что-то мало доверяла: такая подмазуня, что и не говори!.. А баба — вор. Спасибо, што родственного человека встретила, — все-таки веселее, и опаски меньше будет до Перми.

— В Перми-то я в семинарии живу, поэтому нам не придется вместе жить.

Женщина обиделась. Она рассказывала, что муж ее был горький пьяница и таскался с крестьянской девкой и, наконец, за буйство был отставлен от службы, а потом нанялся в солдаты за сына кабачника, который почти что сам его стурил.

— Видишь ли, дело-то какое, — говорила она, — муж-от мой все пьянствовал, да водил компанью с писарем, и писаря отдал под суд: поссорился с ним да жеребьевый список и украл, да и бросил в огонь, а тот не узнал, кто эту штуку сделал, так его и отдали под суд, вместе с старшинами; муж еще прошение от одного мужика написал, што неправильно сдали его единственного сына, а сам он спой... Ну, так и бился, а потом и совсем спился и жил в кабаке. На ту пору набор слышали. Вот кабачник-то и не выпускает его из каба-

ка: пей, говорит, ты мне нужен, одну бумагу нужно заключить... Ну, а потом и подсунул ему условие подписать! согласен-де в рекруты за его сына идти и взял вперед денег, в разное время, полтораста рублей... Шутка сказать!.. Ну, и поит, и поит, а потом и увез в город, а потом и в рекрутское... Я это узнала, пошла в город к губернатору, тот велел просьбу подать... Ну, стали спрашивать моего мужа: по согласию ты идешь? а он пьян, бурлит только... Приняли... Уж этот кабачник замаслил там всех... Только мой несчастный голубчик не дождался и ученья, сторел.

— Жалко! Что же у вас, детки есть?

— Девочка в городе в кухарках живет, а я, в своем-то селе, калачами торговала, да што-то уж больно левая рука разболелась, так я пошла к Симеону Верхотурскому, не помогло; теперь иду к киевским, они, может, сильнее.

— Веру нужно иметь, побольше надеяться на милосердие господне, молиться, — говорил я.

— Ох!

— Ты што? — заговорила другая тетушка, — а вот я-то как мыкаюсь... Ох-хо-хо! му-

жа-то моего ни за что ни про что в Сибирь, да еще в каторгу сослали... А у меня четверо детей... За покос вон деньги просят, а какой покос-то? Гора, а на ней и травка, что есть, настолько не поднимается (и она показала четверть пальца)... Просила-просила, ходила... сколько слез-то было, — говорят: не стоишь лучше этого; не ты одна; есть-де и почище тебя.

— Вы бы лучше в город пошли.

— Ох, голубчик! молод ты еще, неопытен. Ну, что я буду в городе-то делать, к чему я обучена? Стара уж я стала.

— Ну, а до Киева как вы доедете?

— Как-нибудь подаяньями... А сходить надо — по обету... Кабы муж-то был дома, так не то бы было.

Я отстал от них и познакомился с женщиной. Это был заводской человек и посоветовал мне быть осторожнее с бабами.

— Почему? — спросил я.

— Я слышал такие разговоры, што они непременно воровством промышляют.

— Вот у нас так нечего украсть, — сказал я весело. С этим он согласился и сказал, что его

в Шайтанском заводе ночью избили и обокрали какие-то неизвестные люди.

Однако и я ему не доверял, потому что личность его казалась мне довольно подозрительною.

Жарко и душно было по-вчерашнему; пыль почти с каждым дыханием садилась в горло; вся одежда пожелтела от пыли. Обоз шел не по самому тракту, а по бокам его, на правой или на левой стороне, где проложено обозами даже и две дороги, потому что по тракту невозможно ехать даже на почтовых, так как щебень не мелко избит, а песок пока ссыпан в кучи и находится тут для прикрасы тракта. В лошадях я еще заметил новую для меня черту: хозяин передней лошади, он же и подрядчик, часа два спал на возу. В это время передняя лошадь часто останавливалась, за ней останавливались и прочие лошади, не забегая вперед, не сворачивая в стороны. Проснувшись, хозяин свистел, и лошадь шла и с линии не сворачивала. Если ей не нравилось идти по тракту, или она видела, что от тракта идет дорога налево, около тракта, она поворачивала налево и шла по этой дороге до

тех пор, пока эта дорога не вела снова на тракт. Встречные обозы, где тоже спал передний ямщик, не сталкивались с нашею переднею лошадыю: они или шли по двум разным дорогам, или, если где была одна дорога, расходились на такое расстояние, что колеса не задевали друг друга. Так же точно передние лошади сторонились и от почтовых лошадей, а за ними сторонились и прочие лошади.

Верещагин объяснил мне, что те лошади, которые ходят в обозе несколько лет, по привычке идут и знают тракт, как люди, даже они знают — у каких ворот остановиться нужно в селе.

— А что же этот подрядчик — капитал имеет?

— Нет. Вся сила в лошадях и в том, што он человек известный. Видишь ли: есть у тебя лошади, хочется кладь везти, а кто тебе доверит кладь, когда тебя никто не знает и у тебя только три лошади. А известен ты можешь тем быть, што много лет с обозами ходил, все эти обозные дела морокуешь и ямщики тебе доверяют. Ну, вот ты и говоришь прикацику: у меня есть, к примеру, тридцать лошадей, и

я на пристани известен; ну, и отберут от тебя такую бумагу, свидетельство, што ли, и условия тут разные включают, а ты потом и говоришь своим знакомым: кто ко мне? А то больше бывает так: соберутся ямщики и давай рядить — какой нони товар везти, и почем, и как? Кого надо в подрядчики выбирать? А выбирать надо тоже не пьяницу, такого, штобы человек был добрый, не обсчитывал, и штобы на постоянных ямщиках уважение было, и деньги штобы наши он у себя держал, и в целости потом нам представил.

— А если он обманет?

— Ну, этого не бывает, потому мы выбираем человека надежного, и он от нас не убежит, постоянно при нас находится. И опять, он тоже на свой страх товар примат, а это важно: не всяк на это решится, потому с нашим братом тоже и несчастья бывают. Ну, мы и не отстаем от него, коли он не обидит, а обидит — другова найдем: есть их.

— Что же вы ему за это платите?

— По полторы, а если кладь хорошая — и по две копейки с пуда платим. Потому, нельзя.

— Ну, а бывает, подрезывают товары, например чай?

— Бывает, только теперь редко, потому мы по ночам-то по таким местам, где воров много, не ездим; ежели товар неважный, так ничего; небоязно...

— Мне в Билимбаихе хозяйка постоялого двора предлагала купить чаю, и дешево. Я у нее видел два цибика. Откудова же она их покупает?

— О, будь ты за болотцем! У кого ей лучше купить, как не у нас? У нас тоже бывает так, што мы всей артелью бываем должны, хоть той же Анне Герасимовне, рублей по десяти, ну, вот и отдаем ей сообща место чаю, и квит, а потом и объявим, что срезали, а если будут взыскивать, так опять-таки сообща заплатим, и меньше. Одново разу так мы четыре места ухнули. Одново разу у ямщика лошадь пала почти на самом большом переходе. Ну, а сам знашь, ему горько, да и нам-то неприятно, потому — хлопот сколько: нужно на себя примать с пустой телеги кладь, а мы накладываем на телеги летом восемнадцать и двадцать пудов, а зимой и двадцать два пуда, а окурят

постоянно... Ну, подрядчик и говорит: так нельзя, надо как-нибудь довести воз до постоянного, да ему купить лошадь. А хорошая лошадь, для обоза годная, стоит восемьдесят и сто рублей; так, говорит подрядчик, надо чай задеть... Ну, конечно, все с этим согласны, потому свой человек, с маленьких лет с ним ходим, — жалко. Приехали к дворнику: так и так говорим, — подрезали, одно место взяли и ямщиков избили... А дворник смеется: рассказывайте, говорит, сказки, здешнее место еще бог миловал; это, говорят, не под Ключами или Тамисками! Ну, мы и говорим, какое дело. Ладно, говорит, за место чаю я свою лошадь отдам, а чтобы вам опаски не было, дайте еще два места: одно мне за то, што я старшина в волости, а другое становому — он вам бумагу даст и будет следствие производить... Тут наш подрядчик и говорит: ты, дворник и старшина, скажи становому-то, што, мол, у нас четыре места срезали: одно место мы еще себе возьмем, с дворником в городе нужно рассчитаться... Ну, и получили бумагу от станового, што у нас четыре места подрезали и нас избили ловко.

С последним словом Верещагин стал влезать на воз.

Я начинал проклинать дорогу; так она была невыносима, что готов был последние деньги отдать, только бы сесть в повозку и умчаться скорее от обозных. Хочется курить, а покуришь — пить хочется; возьмешь в рот свинчатку — не действует, и рад не рад, что увидишь ручеек. Сапоги начинают отказываться — каблуки стоптались; идти невозможно — трясет; солнышко палит — и рад не рад, когда оно на минутку скроется за белую тучку, медленно подвигающуюся куда-то; а куда — этого ни я, ни все ямщики не могли сказать: только по солнцу, высоко стоящему впереди нас, можно было заключать, где какая часть света, но и эти предположения рассеивались тем, что как ни изгибалась дорога, солнце стояло все впереди нас...

Пошел я опять с женщинами, которые, кажется, уже привыкли к путешествию, потому что шли скоро, подпираясь палочками, и только сетовали, что солнце жжет и надо бы дождя. Мне хотелось вникнуть в этих женщин, но они были очень хитры и каждый

мой щекотливый вопрос искусно заговаривали посторонним, ненужным для меня предметом. Мы все не доверяли друг другу.

— Вы давеча, тетушка, какой-то интересный разговор начали об убийстве, да я помешал вам? Я тоже не прочь бы послушать, — спросил я мастерскую жену.

— Да! Вот я тебя, Офросинья Ивановна, спрашивала... да, бишь, загадку заганула, — в кого девка влюбилась?

— Не знаю.

— В кучера.

— Мать пресвята богородица! Неужели? — говорила, крестись, крестная мать.

— Да, ей-богу! А кучер-то красивой... Ну она и влюбилась, и никто ведь не знал, кроме ее сестры, коей было годов двенадцать всего-то.

— Господи!

— Ну... Вот маленькая сестра и говорит ей; маменьке скажу, — и примечать стала за ней, а та сердится, — сестра покою ей не дает. Ну, и приди же ей в голову мысль: зарезать сестру. Одново разу они в бане парились, а старшая-то сестра и спрячь бритву в башмак; по-

шла за бритвой, не могла найти, — страшно ей таково сделалось. Ну, значит, и задумала зарезать меньшую сестру... Не залюбила она ее больно; родители-то, вишь, больше к меньшей дочери ластились, а большая все около дому была. Ну, не может терпеть меньшей сестры, и баста!.. И богу-то молится, штобы он помог ей зарезать сестру, и все-таки невидимая сила не допускает ее до этого. Только тот вечер, как зарезать сестру, она ужинала с отцом, матерью и с меньшей сестрой. Ну, еда нейдет на ум, а отец жалуется, что ему што-то скушно. А у него с детьми все несчастья бывали, помирали нехорошей смертью. Ну, он и говорит: не долго, говорит, уж и тебе, Аннушка, в девках сидеть, скоро выдам, останется одна Маша, да и ту придется тоже, бог даст, выдавать, — один я останусь... А Маша и глядит на Анну так сердито, и та на нее глядеть не может. Только мать и говорит мужу своему: а ты не примечал, Иван Петрович, што между нашими дочками што-то нехорошее доспелось?.. Отец это побледнел, только ничего не сказал. Ну, пошли спать. Дочери спали с бабушкой, только бабушка в этот день в го-

стях была. Ну, легли обе спать. Маша заснула скоро, только Анна не спит. Ну, и встала, стала молиться, плачет и бритву держит в руке. Подползла это к меньшей сестре и чирк ее по горлу два раза, а потом и выскочила в окно, да к дяде. Те перепугались: на девке лица не знать, платье в крови... Што, спрашивают, с тобой доспелось? Она дрожит и слова сказать не может, а потом и сказала: сестру зарезала, потому она ревновать стала.

— Господи! Што ж, ее плетями драли?

— Нет. Сказывают, она теперь с ума сошла, простили. Отец-то много потратил денег. Одному судье, сказывают, ввалил пять тысяч.

## IV МЫ ПРИЕХАЛИ НА ПРАЗДНИК

Часов в семь вечера наш обоз подкатил к Гробовскому селу. Значит, мы в сутки проехали семьдесят шесть верст. Верещагин благодарил бога за то, что он помог им проехать как раз столько верст. А надо заметить, что у обозных ямщиков время рассчитано: когда отправляться, где сколько пробыть и в какое время приехать. Каждый ямщик хорошо знает, что его лошадь только тогда идет скорее, когда она простоится, отдохнет, хорошо поест, а потом шагу не прибавит и пройдет в час ровно четыре версты. Обозных лошадей стегают нежно и никогда не дерут нещадно, палки здесь не существуют. «Зато, — говорил мне Верещагин, — наши лошади не годятся для другой езды. Случается, што я возвращаюсь домой пустой, и тогда лошади не прибавят шагу, и я постороннему человеку ни за что не дозволю ударить мою лошадь кнутом». Село расположено по кособору и перерезыва-

ется речкой, через которую перекинут деревянный мост. Сперва мы поднялись, потом спустились, тракт повернул налево, опять поднялись. Дома стоят тесно друг к другу; на улицу выходит много сараев с крытыми соломою крышами. Из многих домов слышатся песни, пляски, наигрыванья на гармониях; на самом тракту, перед окнами, девки кружатся и поют песни. Въехали мы во двор. Направо в доме песни, пляска; под навесом направо бродят две лошади благородного вида, запряженные в линейки, и с ними никак не может справиться семилетний мальчик в ситцевой розовой рубаше и плисовых шароварах. Из окон глядели на нас красные лица, с посоловевшими глазами, в которых все-таки замечалась удаль, как будто доказывающая, что — «мне теперь ничто нипочем». Вышла пожилая женщина, в новом ситцевом платье и с косынкой на голове. Она поклонилась ямщикам, ямщики поздравили ее с праздником и попросили овсеца.

— Сичас, сичас, дорогие гости, — и она убежала в дом, из которого немного погодя вышла молодая женщина. Ее тоже поздравили с

праздником, а один молодой ямщик ущипнул ее за руку, на что она сама ответила ему кулаком.

Все ямщики пошли сперва с мешками за овсом, потом с кошельями за сеном и, возвращаясь от амбара, вздыхая, говорили:

— Ох, времена!.. Как пони овес-то прыгает! Между тем в доме не умолкали песни. Мало-помалу стали слышаться из дома раздирающие крики на разные тоны, голосили женщины. Из дома провели в сарай какого-то толстого, низенького человека, который и на ногах не мог держаться. Это, как я узнал вскоре, был сам хозяин постоянного двора. Ямщиков то и дело звали в дом, но они капризничали, говоря, что им еще недосужно, что они заняты своими лошадьми. Наконец стали умывать руки, лица — и повалили в избу налево. Направо помещение хозяина, и там веселились гости.

— Што же, Семен Васильич, здесь праздник, што ли? — спросил я Верещагина, оставшись с ним наедине.

— О, будь ты за болотном! Ведь вчера ильин день был, — ну, дак ведь хороший

праздник бывает три дня.

— Понимаю. Значит, со страдой покончили?

— Верно.

— А чем же они промышляют?

— Чем? овсом да репой торгуют; капусту еще садят. А больше извозом занимаются. Вон Иван Панкратьев, што утирается, гробовской, а прочие на земских и обывательских ездят.

— А што же хлеб-то, не растет, што ли?

— Немногие занимаются: места неподходящие, не прокормишься.

В комнатах дрались; потом человек пять сели на линейку и с песнями уехали, но в комнате продолжались по-прежнему песни и пляска.

Подали самовар, белого хлеба; ямщики пошли в комнату поздравлять или выпить. Немного погодя в избу вошел высокий, здоровый мужчина, в черном кафтане нараспашку, и, пошатываясь, подошел ко мне.

— Кутейник? — крикнул он. Я промолчал.

— Тебя спрашивают?

— Кутейник.

— А што ж ты не поздравляешь меня с

праздником? Я хозяин, а ты гость.

Делать нечего: я встал, подошел к нему и, протянув руку, извинился в своей невежливости.

— То-то! Меня и наш дом вся губерния знает!.. Я люблю вашего брата. Целуйся!

Мы поцеловались. Он несколько раз целовал меня и заслюнил все мое лицо.

— Иди же к гостям, я те часть воздам... — и он крепко сжал мою руку и потащил; меня в комнаты. — Эй вы! дуры!.. Смирна! Не плясать!.. Перемского на тракту словил кутейника... Эй, Марь!.. водки, живо... пирога сюды! Я вас! — кричал хозяин, не выпуская мою руку.

В комнате в два окна, между которыми приколочено простенькое зеркало с конфетными картинками на рамках, с лавками, крашеным столом в переднем углу, с двумя дверьми, направо и налево, топталось и сидело штук восемь мужчин и женщин; женщины одеты нарядно, в ситцевые сарафаны и платья, с простенькими шалями на плечах, с платками и косынками на головах, мужчины — двое в розовых ситцевых рубахах и плисовых шароварах, один в черном кафтане. Ко-

гда я пришел, в комнату, две женщины пели и топтались, один мужчина играл на гармонике, другой отдергивал трепака; прочие — мужчина спорил с хозяйкой, а гости щелкали орехи. На столе стоял крашеный жбан с пивом, пирог с рыбой, пирог с малиной и еще что-то лежало, что я не мог различить сыздали. Женщины посмотрели на меня, присмирели; мужчины хохотали.

— Ты уж вечно што-нибудь состроишь... — сказала недовольно одна женщина, обращаясь к державшему меня человеку.

— Уж я сказал, што позабавлю, и исполню... Слышь, што я те спрошу... Ну! Што теперь у меня в голове сидит? — спросил он меня. Гости присмирели, но готовы были разразиться смехом.

— Хмель, — сказал я.

Все захохотали.

— Так ты думаешь, што моя голова хмель?.. Я, значит, хмель? Слыши-те, што он сказал!

— Это верно, што хмель, — подтвердил другой мужчина. Женщины голосили, называя меня прозорливым.

— Ну, а вот в ее голове што сидит? — спросил он меня, показывая на одну толстую женщину.

Я подумал и сказал: песни, потому что она во все горло поет.

Опять все захохотали, но баба обиделась. Мужчины прозвали эту бабу песней.

— А в твоей што сидит?

— Пирог с малиной... Все захохотали.

— Молодец, брат, ты! Недаром вашего брата на наши капиталы обучают... Дело! Ну-ка, братец, дергани с дорожки-то, — сказал он мне, трепля меня по затылку, и подвел к столу. Гости голосили громко, неприятно для городского уха.

— Очень жарко, пыльно, хозяин, — сказала я, желая навести его на разговор.

— Вот я те попотчую... — Он налил мне стакан водки, я выпил, он еще налил, я стал отказываться, но он погрозил за ворот вылить. Я закусил пирогом с рыбой.

— Степка! играй! — крикнул хозяин.

Заиграла гармоника; бабы, подобрав подошлы, принялись плясать так, что половицы трещали, платки спадывали с головы, а одна

так даже вскрикивала от удовольствия: и-их, ты! Хозяин обхватил меня и стал плясать. Меня стала отнимать молодая женщина. Началась свалка, однако хозяин меня отпустил. Женщины, окружив меня, сцепились руками, топтались, кружились и напевали, делая мне глазки и толкая друг друга: «уж я золото хороно, хороно»... Ямщики, стоя у дверей, глядели на эту сцену и хохотали.

— Попович-то! камедь!..

— Целуйте ево, бабы!..

Начали меня целовать: от одной пахло чесноком, другая отрыгивала чем-то кислым. Ямщики хохотали. Бабы пустились в пляс, припевая громко:

Попьем-ко мы,

Посидим-ко мы!

Право, есть у кого.

Право, есть у него!..

Вдруг одна женщина задает мне загадку:

— Отгадай, расцелую: летом в шубе, зимой в шабуре? — И она подмигнула.

— Будто не знаю? — сказал я.

— Нет, не знаешь.

— Лес, — сказал я.

— А в лесу што делают?

— Грибы собирают, малину.

Лицо женщины покраснело, она захохотала; ее стали уличать в чем-то нехорошем.

— Петро Митрич, иди чай пить? — сказал мне Верецагин.

— Не хочу, — сказал я и не пошел.

Гости хохотали, разговаривали, прощались. Я вышел на крылечко и закурил трубку.

Скоро гости прошли мимо меня и весело распростились со мной, а женщина, загадавшая мне загадку, в шутку поцеловала меня и убежала.

Богомолки сидели за воротами, потому что ямщики не пустили их в избу. После обеда, который прошел довольно весело, я вышел за ворота с трубкой. Там, против нашего постоянного дома, шесть девиц играли в мячик с четырьмя парнями. Это были дочери и сыновья содержателей постоянных дворов и отличались от прочих крестьянских детей дородством, красотой и костюмом. Так, девицы были все в ситцевых платьях, а на одной, высокой, семнадцатилетней, черноволосой, было даже шерстяное платье. Девицы играли уме-

ючи в мячик, ловко отворачивались от ударов мячиком, скоро бегали, и их очень забавляло то, как бы им попасть в парня. При моем появлении на улице они сперва смешались, но потом стали еще усерднее играть, как бы стараясь доказать, что они не ударят себя лицом, в грязь. Играя, они часто посматривали на меня, потом вдруг собрались в кучку, парни отошли прочь, а девицы стали шептаться, потом захохотали и начали играть без парней. Вдруг мячик упал к моим ногам. Я не трогался. Девицы рассыпались, но подойти ко мне не решались. Стали толкать друг друга.

— Не съем. Подходите хоть все, — крикнул я.

— Слышь, стеклянны шары всех зовет... Дунька, иди, ты бойчее...

Одна девица в голубом платье бойко подошла к мячику — и вдруг бросила его в меня, а сама кинулась бежать; но я успел попасть мячиком ей в спину.

— Свинья! — сказала девица. Прочие хохотали и кричали мне:

— Очкастый! очкастый! стеклянны шары...

— Прймайте, што ли, играть-то? — крик-

нул я.

Девицы захохотали и закрыли лица ладонями. Потом сели все на завалинку и запели, но пели на один голос, стараясь перекрычать друг друга. У ворот в это время сидели старики и бабы, с грудными ребятами и без ребят, и надзирали за детьми. Впрочем, по случаю праздника, им предоставлена была полная свобода. Парней на улице не было; поэтому девицы и пели, но одна девица крикнула: Степа-ан! За это подруги ударили ее по плечу, но девица не покраснела. Явился парень лет восемнадцати, одетый франтовски, игра началась, и уж устраивалось так, что бросать мяч приходилось только Степану или только высокой девице в шерстяном платье, и играли только они двое, что не нравилось остальным, но никто им не мешал. Если Степан попадал в спину девицы, что ей, впрочем, нравилось, то она вскрикивала: — ах ты, подлец! если девица попадала в Степана, то он грозился: уж я же те, толстопятую...

Солнышко село; стало прохладно. Наш обоз тронулся.

— Попович!.. Где стеклянны шары? — кри-

чали девицы. Я был во дворе и вышел. В меня попали мячиком, я забросил мячик в чей-то двор, мне пожелали «околеть»; я сел в свое гнездо. И по мере того как мы проезжали дом за домом, кучка за кучкой сидевших людей около своих домов исчезала из глаз, мне делалось невыносимо скучно. Мне хотелось пожить здесь, приглядеться к здешней жизни.

— Богатый здесь народ? — спросил я Верещагина.

— Откуда им богатым-то быть? Так, живут, как и всякие; особенно ныне не наживешь много-то денег. Не старая пора.

— А прежде чем же лучше было?

— Хлеб был: дешевле... А теперь вон с меня сходит оброку да других повинностей чуть не семьдесят рублей. А прежде и тридцати не выходило.

— Ты, должно быть, всю местность на протяжении тракта знаешь?

— О, будь ты за болотцом! Как не знать-то, коли с детства хожу? Эти деревни все наперечет знаю, а постоянные дворы чуть ли не все испробовал — все одно, што один.

— А што, если железную дорогу построят?

— Не построят; это только пугают.

— Ну, а если предположить, што построят?

— Ну, тогда мы в конец разоримся. Мы только тем и кормимся, што с обозами ходим. К другим ремеслам мы неспособны, што есть, и с пашнями у нас жены да работники управляютя. А будь это дело — ну, и пойдём по миру.

— Есть ли хоть польза-то теперь?

— Какая польза! Кое-как на харчи сходится, — сам подумай: у меня жена, дети, ну, и содержание лошадей што стоит.

## V РАСПРАВА

Я начинал привыкать к обозной жизни и вполне понял ямщиков. Они, с детства приученные к обозной жизни, так сказать, закалили себя к этому занятию: им не страшен был зной, мороз, не злил дождь, они привыкли к ним и только говорили, что летом ездить лучше, потому что можно идти без зипуна и без шапки, днем можно спать и без сапог, а зимой нужно кутаться в полушубок, да еще сверх полушубка надо надевать азам (род зипуна), нужно часто греться, то есть выпивать на свой счет водки. Виды с гор их теперь уже несколько не интересуют, потому что они уже примелькались, и в них они не видят для себя никакой пользы. У них даже сложилась с соею иная жизнь, жизнь обозная: в своих деревнях, селах они были только гостями и гостили много-много раз по четыре в году, да и тут им скучно было, тянуло на большую дорогу, где раздолье, хорошо поят, кормят, много приятелей, где только одна забота: благо-

получно доставить кладь и получить рублей пятнадцать денег. Они не интересовались ни политикой, не тревожили себя пустыми вопросами; вся их мозговая деятельность сосредоточивалась только на обозной жизни, а разговоры об урожаях и других насущных предметах были для них только препровождением времени. Дорогой, когда они шли, они больше молчали, но что они думали, того никто не знает, а вероятно, их мысли были одинаковы у всех. Были ли они поэтами в душе, я сказать не могу, только можно сказать, что они более сообразительны и толковы, чем другие ямщики; у них еще много поговорок под рифму, и эти поговорки, в виде острот, высказываются только навеселе.

О дальнейшем путешествии писать не буду, потому что оно однообразно, только разве упомянуть о том, что мои петербургские сапоги после двухсуточного странствования пришли в такое состояние, что я в них не мог ступить и шагу — стоптались очень и продрались в двух местах на каждом сапоге, и я купил в Кунгуре мужицкие, которые тоже привелось чинить в кузнице, потому что гвозди

проходили насквозь, и их присутствие, после десятиверстного странствования, стало весьма неприятно, и я положительно хромал на обе ноги. Кормили меня хорошо, и я, сознаюсь, наедался до того, что едва мог передвигать ноги. И все это удовольствие мне стоило двадцать-пятнадцать копеек, тогда как в передний путь златоустовский смотритель почтовой станции, знакомый мне человек, за два дрянных блюда взял с меня сорок копеек. К обозной жизни я привык совсем на пятье сутки, вероятно потому, что до Перми оставалось немного; да и сам Верецагин более и более становился веселее, попевал веселые песни.

— Слава богу, скоро доедем, — говорил он.

— Домой, поди, съездишь?

— Надо... Уж я ей, будь она за болотцем... — говорил он и делал руками штуки и лицом гримасы.

— Советно ты живешь с хозяйкой?

— И!.. Она у меня баба золотая. Вот баба! — и нужды нет, што третья. Молодая и славная.

— Поди-ко, ведь ей скучно?

— Чево ей скучать-то: знает, што я с обоза-

ми хожу и домой приезжаю не с пустыми руками. Работа там есть у нее, чево еще ей надо?

Виды тоже описывать не стану, потому что они до того разнообразны и неуловимы на местах, что их едва ли кто сумеет верно срисовать; да и мне на местах или на интересных пунктах ив голову не приходило набрасывать карандашом хотя бы один клочок интересной для первого впечатления местности, а в памяти у меня так рассеяны эти впечатления, что я нахожу за самое лучшее не фантазировать, или не искажать природу. Не мешает упомянуть о Суксунской горе, которую ямщики недолюбливают за то, что она очень крута. Виды с нее очень хороши, и ее видно за несколько десятков верст, но об ней уже упоминал Максимов в книге «Поездка на Восток». Только, описывая ее, он упустил из виду то, что не весь Урал таков. Кроме Суксуна, близ Кунгура, есть еще две горы, стоящие на тракту друг против друга, — Иренская и Бакинская, так что с одной спускаются, на другую поднимаются, — и между ними село, а около одной — речка с очень холодной водой.

Через эту речку перекинут мост, но этот мост почему-то ежегодно починивается, обозы переходят речку бродом. На горах больше пространства степей, и под Кунгуром нас припугнула гроза, о которой говорить тоже не стану: нужно быть на горе, чтобы иметь понятие о грозе.

На пятые сутки мы ночевали на большой дороге. Мы ночевали таким манером уже два раза, и на это у ямщиков были свои уважительные причины. Лошади, конечно, были отпряжены; к их горлам были привешены колокольцы, и они ходили у изгороди, доставая высокую, еще не скошенную траву, но, впрочем, недалеко от своих возов. Один ямщик не спал; прочие хотя и спали на траве около возов, но, как обыкновенно у них водится, при каждом сильном стуке, при сильном звякании колокольцев — они поднимали головы. А раньше я забыл сказать, — впрочем дне тогда еще не приводилось замечать, — что ямщики, лежа на возах и в телегах, при каждой остановке лошадей просыпались и поднимали голову. Уж такая привычка. Две богомолки ехали тоже с нами до Кунгура, но я к ним не

питал особенного уважения, и особенно с тех пор, как в Златоусте они развесили сушить свое белье, и я убедился, что они не так бедны, как они себя выказывали: у них были даже шелковые платья, и мельком я видел у них золотые серьги и кольца. Между собой они были дружны, но в Кунгуре поссорились, и жена мастера скрылась, недоплатив ямщику денег; осталась только одна крестная мать моей мнимой жены.

Я спал крепко, несмотря на холод. Вдруг слышу — ямщики кричат. Я открыл пальто.

— А, ты грабить!

— Бей ее, проклятую!

— Нет, постой. Бить не надо; надо дело распознать, — кричали ямщики. Я подошел к ним. Моя крестная мать лежала на траве с связанными руками и ногами крепко-накрепко.

— Что такое случилось? — спросил я ямщиков, собравшихся в кучу и разбирающих узлы женщины.

— Да што, воровка! По запазухам чужим лазит, проклятая, штоб ей семь чертей!.. Вон Петро углядел. Подошла она к Фадею Степа-

нычу и засунула руку в сапог. Вот оно што.

— Что ж вы теперь думаете делать?

— А обыщем. Вон Пермяков все жаловался: два, говорит, цалковых потерял.

— Вот лопни мои глаза, штабы я соврал...

Ничего не покупал, никому не давал, а денег не стало, — жаловался рыжебородый ямщик.

— Нашел!.. Яков! это не твой ли плат-то?

— Мой, мой! Ищи, нет ли Пермякова-то?

— Это не твой ли, Петр Митрич?

Я подошел; действительно, беленький платок — мой, но я сказал, что я ей подарил.

— Зачем дарить? Мы не хотим! Возьми!.. — галдели ямщики.

Я взял.

Нашли и пермяковский платок. Стали допрашивать женщину:

— Ну, сознавайсь. Зачем ты воровала?

— Простите, ребятушки! Бог попутал... вперед не буду.

— А билет есть?

— В тряпках...

— Где? Ну-ко?

— Там.

— Да ты нас не тяни, нам ехать нужно.

— Потеряла, ребяташки... Пустите... я уйду от вас.

— Ну, ладно. Ребята, завязывайте узел. Гляди, стерва, не будь на нас в претензии, што мы тебя ограбили, — проговорил спокойно подрядчик.

Женщину подняли; она плакала. Один ямщик складывал и увязывал вещи женщины.

— Ведите ее, голубушку, в лес, — говорил опять спокойно подрядчик.

Четыре ямщика повели женщину в лес.

— Это зачем вы ее в лес-то увели? — спросил я ямщиков.

— Поучить маленько, постегать, штоб не баловалась, — объяснили они мне. Через несколько времени откуда-то слышались стоны, но по дороге никто не ехал, а через четверть часа вышли из лесу ямщики и женщина.

— Ну, теперь будешь воровать? — спросил ее подрядчик.

Женщина поклонилась в ноги и сказала:

— Дозволь, батюшко, мне доехать.

— Нет, уж кончено: сиди здесь, коли не умела ладом ехать. — Так мы и покинули

женщину на тракту. Ямщики говорили, что выстегать вора самое благое дело, потому что они люди дорожные, представлять вора у них времени нет, да и он еще ускользнет, а как дашь острастку, так вперед не посмеет по чужим сапогам да по запазухам лазить.

На седьмые сутки мы приехали в Пермь. Голова и бока у меня болели; лицо было точно в пепле, а в волоса даже частый гребень не лез, и я кое-как отмыл в бане песок из головы. Зато мне поездка из Екатеринбурга стоила только шесть рублей.

Через неделю я шел на пароход. На одной улице меня кликнул Верещагин:

— Петр Митрич!

— А, здравствуй, Семен Васильич. Куда?

— За кладью; в Тюмень завтра еду.

— Што мало погостил дома-то?

— Будет... Все здоровы, ну и слава богу. Счастливо оставаться.

— Прощай.

Мы простились за руки. Он спросил меня, когда я поеду в Екребург; я сказал, что не знаю.

— Хорошо, кабы ты опять со мной поехал.

Ну, прощай! Мы расстались; он часто оборачивался, и мне отчего-то скучно сделалось; так и хотелось опять с ним же ехать по Уралу, только пора было и в Питер отправляться.

1864

# ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые напечатано в альманахе «Невский сборник. I. Спб., Изд. Вл. Курочкина, 1867. Рукопись неизвестна. Без изменений перепечатано в: Сочинения Ф. Решетникова. Т. I–II. Спб., Изд. К. Н. Плотникова, 1869. Т. II. Очерки, рассказы и сцены. Серия «Из путевых воспоминаний» (Состав серии: Очерки обозной жизни. Глухие места. Из дорожных заметок. Сутки в еврейском городе. Ярмарка в еврейском городе).

Включалось во все посмертные собрания сочинений. В советский период вошло в указанное Полн. собр. соч., т. II, в кн.: Решетников Ф. М. Избранные произведения в 2-х томах, М., 1956, т. I.

«Очерки обозной жизни» — путевые воспоминания писателя о поездке на Урал летом 1865 г., которая была предпринята им для сбора материала к роману «Горнорабочие» (первые две части романа опубликованы в «Современнике», 1866, N 1, 2).

Он побывал в Перми, Чердыни, Соликамске, в Усолье, Екатеринбурге.

О времени создания и обстоятельствах публикации «Очерков» свидетельствует запись в Дневнике 6 мая 1867 г.: «Вышел „Невский сборник“, в нем помещено множество статей, в том числе и моя — „Очерки обозной жизни“. Эта несчастная статья почти с осени 1865 г. валялась в разных редакциях и не печаталась, потому что редакторы самый предмет находили, кажется, избитым, да и не читали очерка» (Из литературного наследия, с. 264).

Первые, написанные по горячим следам осенью 1865 г. уральские очерки «Из провинции», «Путевые письма» («Фельетонные статьи о Пермской губ.») были отклонены в «Русском слове» и «Будильнике».

«В „Искре“ цензор исчеркал „Путевые письма“, и ничего не вышло» (Из литературного наследия, с. 239).

Отправленные 20 мая 1866 г. Н. А. Некрасову, очерки были возвращены автору в связи с последовавшим 1 июня закрытием «Современника».

О содержании «Путевых писем», подверг-

шихся преследованию цензуры и не дошедших до нас, дает представление письмо Решетникова из Перми к Н. А. Благовещенскому от 10 июля 1865 г.: «...Новый губернатор уехал разбирать дело временнообязанных крестьян, которые недавно бунтовали и в которых стрелял целый полк. В Пермской губернии большею частью таким манером уничтожают крепостное право. Стреляют в народ, потому что помещики насчитали много недоимок и дали народу такую землю, на которой разве при хорошей обработке через десять лет вырастет хорошая трава для корму лошадям» (Из литературного наследия, с. 342).

По материалам уральской поездки написаны рассказы и очерки «Старые и новые знакомые», «Глухие места», «На большой дороге», «Тетушка Опарина», «Рабочие лошади». В переписке и Дневнике писателя упоминаются и некоторые другие, не дошедшие до нас.

В откликах прессы на «Невский сборник» среди имен его участников, «известных талантливых... беллетристов» назван и автор «Очерков обозной жизни» Ф. Решетников.

Т. А. Полторацкая.

Примечания к изданию: Ф.М. Решетников. Между людьми. Повести, рассказы и очерки. Изд. «Современник», М., 1985 г.

## **Комментарии Т.А. Полторацкой к «Очеркам»:**

... ехал на земских и обывательских. — Земские лошади принадлежали земским почтам, учрежденным в России в 1871 г. в местностях, не имевших государственных почт. Земские почты располагали конторами и транспортом. Ехать на обывательских лошадях — значит, не на почтовых, а на переменных, от жителей.

... в контору вольных почт. — Вольные почты — учреждение, перевозившее проезжих, не получая платы от земства.

... А ты, дворничиха... — Дворник, дворничиха-содержатели постоянного двора.

... виден Шайтанский завод... — Чугунолитейный завод на р. Шайтанке в 46 верстах от Екатеринбурга.

... в Сысертском заводе? — Горный завод в

50 верстах от Екатеринбурга.

... жеребьевый список... — Список, по которому производилась жеребьевка призываемых в царскую армию.

... Писатель использует в «Очерках» фольклор горнозаводского Урала. Песни записаны в литературной обработке Решетникова.

... упоминал Максимов... — имеется в виду книга: Максимов С. М. На Востоке. Поездка на Амур. Дорожные заметки и воспоминания 1860–1861. Спб.,